

Мераб Мамардашвили характеризовал русских как народ, «готовый страдать, лишь бы не пострадать». Вековечный упрек в покорной пассивности? Или кратчайшее резюме исторического опыта, который приучил ничего хорошего не ждать от резких перемен?

Так или иначе, поразительная черта сопровождала пробуждение гражданского сознания прошедшей зимой. За редчайшим исключением (на левом фланге левого сегмента) общей основой национального консенсуса было отторжение идеи ответного насилия. Даже минималистский лозунг «За честные выборы!» не смог претендовать на выражение общей воли, ибо не вызывал полного единодушия: партократы и миллионы рядовых едristов считали, что а) выборы были честными, б) если и не совсем, то в правильную сторону, и, наконец, в) если совсем не, — то все средства хороши, чтобы удержать лодку от раскачивания. Всяко хуже свалиться с нее в революцию. Вот в этом последнем тезисе их поддерживало подавляющее большинство протестантов. Убеждение, что революция бывает только бессмысленной и беспощадной, является фундаментальным теологуменом гражданско-государственной религии в сегодняшней России, освященным всеми авторитетами от Пугачева через Пушкина и Пуришкевича до Путина. Это такой незывлемый, если хотите, «постулат четырех Пу», или просто Пустулат).

Однако очевидно, что если в беспощадности многим революциям отказать нельзя, то тезис об их бессмысленности куда более проблематичен, поскольку мы сами являемся семантическими производными от Великих Французской и русской Октябрьской революций, не считая многих промежуточных. Мы сами дети той «перемены в способе мысли» (*Umänderung der Denkart*), символом для которой Канту послужил Коперник, автор труда «О поворотах [букв.: революциях] небесных орбит» (*De Revolutionibus Orbium Cœlestium*): из этой контаминации и родились выражения «коперниканский поворот» и «коперниканская революция», у Канта не встречающиеся. (Вообще-то правильнее было бы характеризовать эту революцию как птолемеевскую, ведь она помещала человека-солнце в центр системы, но мы сейчас не об этом.) С тех пор наука предпочитает говорить о поворотах (*turn*, *Wende*, *tournant*), — см.: лингвистический, исторический, семиотический, нарративный,

пространственный и многие прочие повороты, — разве что какой-нибудь радикал типа Томаса Куна брутально вернет в обиход слово «революция».

Если перестройка еще стилизовала себя под революцию, охотно полагая себя продолжением *той* революции (и *той* единственной гражданской), то нынешний режим предпочел родиться из удушливых византийских интриг и мирно-эндогамной передачи власти, традициям которых, как мы видим, он остается верен и в своих последующих манипуляциях. Лозунг *честных* выборов был поэтому — объективно, независимо от благородных интенций многих участников — требованием *достаточно правдоподобного* одобрения народом-сувереном этих практик. Понятно, что в такой ситуации о суверенитете можно говорить только иронически. Народ, в здравом признании своей непреодолимой бессмысленности и твердой памяти о своей былой беспощадности, выражает готовность отказаться от своего суверенитета в пользу гражданского мира любой ценой.

Не то ли предвидел уже 20 лет назад Фрэнсис Фукуяма? Мирный распад самого масштабного революционного проекта дал ему козырный аргумент в пользу того, что после «конца истории» любое насильственное действие будет от силы барочным упражнением в *body art*.

Думать о революции и в терминах революции сегодня — «несвоевременное размышление»?

Михаил Маяцкий